

## К ГЕНЕАЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА: ЦИНИЧЕСКИЙ МОДУС СОЦИАЛЬНОСТИ

Предметом обсуждения стал цинизм в его диффузной форме, то место, которое он занимает в структуре современной социальности. В статье анализируется методическое значение этого понятия для концептуализаций в сфере социальной теории, философии власти, права и субъекта. Особое внимание уделяется вопросам генезиса субъективности. Обосновывается влияние цинического модуса социальности на внутриспсихические механизмы политического выбора и формирование полноценного субъекта властных отношений. Представленная аналитика опирается на генеалогическую методологию исследования.

**Ключевые слова:** субъективность; диффузный цинизм; П. Слотердаjk; властное отношение; психическое.

Перефразируя П. Слотердаjка, в мире не осталось ничего простого – даже глупости. По его словам, «таков, вероятно, наиболее печальный из триумфов Просвещения» [1. С. 530]. Избрав в качестве сюжета самой известной своей аналитики *цинизм* как форму сознания и самосознания современной культуры в ее субъективно-личностных и институциональных проявлениях, П. Слотердаjk предоставляет этому типу сознания оставаться сколь угодно ложным и несчастным, однако он решительно возражает против превращения его в новый вариант идеологии – во всяком случае в её прежнем привычном измерении. Рационализация этого сознания парадоксальным образом производит эффект критики любых идеологий.

Анализ феномена цинизма и сопутствующих ему психо-, социо- и политических обстоятельств требует принципиально не правового взгляда на происходящее. Так, избирательное законодательство определяет, в каком формате может быть осуществлен реальный избирательный процесс. Однако никакое избирательное право не регулирует субъективные внутриспсихические механизмы выбора, совершаемого индивидом или социальной группой. Думается, определяющее значение здесь имеет другое: это другое распределяет себя, пересекая правовое поле и заново выстраивая конфигурации в сфере социальности. Право, конечно, формирует социальные отношения, создает кристаллическую решетку для их удержания и воспроизводства, но действует оно формальным образом, на поверхности структуры социального. Лишь в редких случаях, косвенно правовая норматика учитывает интенциональную соотнесённость субъекта и тех социальных диспозиций, которые делают его членом сообщества. Вполне вероятно, что подобный анализ пригодится для более эффективного правового регулирования общественных отношений. Ведь психика индивидов не должна помешать ответственному выбору, если мы не хотим ослабить действие правовых механизмов, призванных, например, обеспечить справедливость самого избирательного процесса.

Теоретические интроспекции, избравшие своим предметом политический, да и правовой мир, задействуют сущности, демонстрирующие универсальный характер. Первоочередное, фундаментальное значение таких феноменов, как бытие, мышление, язык, имеет выход в онтологию. Одновременно важен их эпистемологический ресурс. Законное место в выше-

обозначенном категориальном ряду занимает понятие «власть». Что касается последней, эмпирически именно оно ближе и понятнее прочим. Привычно думать о власти как о принуждении, которое идет извне и определяет поведение индивида. Как о принуждении, которое сковывает волю, узурпирует нашу естественную свободу, ощутимо давит, ставит в зависимость и переводит в униженное положение. Как о принуждении, которое презирает наши потребности, заставляет нас изменять самим себе во имя чего-то иного, что превосходит либо игнорирует наше собственное желание. Такое выражение власти наиболее понятно и мучительно. И именно оно чаще всего задействовано в политической теории и философии социального анализа, в классических объяснительных схемах, где фигурирует диспозиция господства и подчинения, имеющая в виду масштабные векторы силы в макросоциальном пространстве.

На этом фоне все исследования микрофизики власти отдают предпочтение её генеалогии. В противовес традиционной социально-философской и философско-политической проблематике – от Аристотеля и просветителей до К. Маркса, М. Вебера и современного либерализма в духе Ф.А. фон Хайека – представители генеалогического подхода заявили принципиально новую методологию анализа. В общих чертах – это синтез метафизики и онтологии власти в опоре на Ф. Ницше и гегелевскую «Феноменологию духа», дополненный гуссерлевской идеей интенциональности, а также постфрейдовской аналитикой бессознательного, включая структуралистский и постструктуралистский опыт анализа дискурса.

Тем не менее думать о власти как о порождающем принципе всё еще непривычно. Истолковывать власть как условие *возникновения* самого субъекта подчинения, последующий эффект которого состоял бы в запущении желания подчинения снова и снова, кажется попранием всех добродетелей либерального образа мысли, едва ли не торжеством тоталитаризма, крушением идеала свободы и автономии. При том, что так трактуемая власть не имеет никакого формального представительства, напрямую не соотнесена ни с одной социальной институцией. Структурно она никак не закреплена в поле социального, однако именно она производит возможности самопонимания и действия, в которых субъект артикулирует себя и с которыми зачастую себя ассоциирует. Безусловно, позитивист-

ская – «научная» – онтика не может не усмотреть в таком положении дел нечто демоническое – тем более что метафизика всегда находилась у позитивизма под подозрением. Ведь следствия действующей подобным образом власти воспринимаются как подлинные модусы собственной экзистенции, как собственное «я», как такие когнитивные и поведенческие предпочтения, которые не имеют альтернатив. В психологии похожая схема описывает бессознательные процессы интроекции / седиментации и идентификации / габитуализации. Фактически, с философской точки зрения, таинство власти в том, что она предшествует субъекту, вменяет ему ту или иную форму самосознания (Дж. Батлер). К этому следует добавить специфическое качество амбивалентности – присущие власти лицевую и «теневую» стороны: распоряжаясь властью, субъект не всегда замечает, как власть распоряжается им. Наиболее наглядно это демонстрирует пример власти публичной.

На лицевой ее стороне расположились всем известные символы и атрибуты – физические и юридические субъекты (индивидуальные или коллективные носители власти, равно как и те, кто в большей или меньшей степени от нее отлучены), институциональные властные образования, политические институты разной степени влияния и обслуживающие их дисциплинарные практики и дискурсы. Всё это имеет свою дислокацию и получает закрепление в макросоциальном пространстве. Всё это гомо- либо гетерогенным способом – в зависимости от типа социальности – связано с экономическим, идеологическим, культурно-историческим устройством социального мира вообще.

С «теневого» стороны власти, косвенным образом, сталкивается исследователь ее природы. А непосредственным – ее носитель. Однако, и это существенно, вовсе не в момент отправления им внешних властных функций. Скорее, в ситуации «приостановки» власти, в режиме неожиданного или вынужденного размышления о ней, «на досуге» (который, как известно, является истоком любого философствования). Здесь особенно важно то обстоятельство, что перед нами лицо, наилучшим образом осведомленное о правилах, на которых зиждется искусство властвования. Другими словами, «теневая» сторона власти будет означать внутреннее знание господствующего субъекта, некую интимную составляющую его размышлений о себе в качестве такового.

Конечно, политика и власть идут рука об руку. Как глобальная технология управления массой политика обладает габитуализирующим воздействием. Устойчивые схемы восприятия и действия делают нас заложниками актуальных политических реалий. Но это ещё не всё: габитуализирующее политическое воздействие в современном мире имеет особую примету – оно не только проникает в сферу субъективности и формирует ее. Политическое определённого формата отправляет в отставку субъекта подчинения. Таким образом, та политика, свидетелями которой мы являемся, оказывается не просто внутри нас. Она вместо нас.

Цинизм публичной власти – это введение ее «тневых» аспектов в саму технологию осуществления такой формы власти. Причем введение осознанное –

основанное на специальном знании о том, как власть этого типа приобретает, сохраняется и приумножается – и злонамеренное, поскольку, вопреки заявлениям об общественном благе и справедливости, оно направлено против общественного субъекта. Важно добавить, что «господский» цинизм отчетливо коррелирует с цинизмом «снизу», чтобы, тем самым, не упустить его всеобщность. «Цинизм власти» и «цинизм подданных» работают в едином режиме.

Разумеется, «цинизм подданных» более завуалирован, его сложнее распознать, он почти всегда психопатичен, т.е. скрывает собственную сущность, выдает себя за нечто более безобидное, часто – стоящее в другом ряду. Эта форма цинизма, как правило, внешне неагрессивна. В сфере политического она никак не ассоциируется с циническим выбором или циническим действием. Это, на первый взгляд, ни в коем случае не намеренное совершение зла, подаваемое как деяние во благо. Политический «цинизм подданных» эмпирически и психологически предстает как уклонение, политический квиетизм и эскапизм, как вялость и, зачастую, неспособность к решительным шагам, как своего рода робость и уход в сторону. В качестве аргумента фигурируют тезисы не собственно политического порядка. Скорее пресловутое «стилистическое» – эстетическое либо моральное – расхождение с режимом.

Симптомы цинизма «снизу» весьма богаты. Они обнаруживаются практически сразу, как только мы вскрываем противоречивый характер устройства и функционирования современного сообщества. В особенности сильное напряжение выдает психосоматическая сфера. Несмотря на ценность индивидуальной автономии и даже ее отчетливый культ, индивиды в своей массе демонстрируют все признаки социальной протоплазмы -инертность, отсутствие твердых убеждений, смутное самосознание, низкий уровень ответственности, политическую и нравственную податливость. Амбивалентность современного типа социальности указывает на взаимоисключающие тенденции общего толка – усложнение социального поля и его конфигураций с одновременной унификацией сингулярностей, действующих в границах различных социальных полей. В нашем случае это индивидуализация и эголизация как вектор современной культуры, истории, социальности. С другой стороны, тенденция, идущая вразрез с атомизацией социальной сферы. Это заметная деперсонализация форм субъективности, снижение уровня символических и политических притязаний, общая апатия. По меткому наблюдению П. Слотердайка, современное общество превратилось в нечто среднее между тюрьмой и хаосом. По схожему поводу Ж. Бодрийар писал, что нынешний обыватель живет в комфортабельном концлагере.

В нашем мире царит видимая непринужденность. Здесь, опять же, задают тон открытость и естественное расслабление. Однако в действительности правит бал нечто прямо противоположное. Современный субъект демонстрирует рост внутреннего контроля и разделяет стратегию «внутренней эмиграции». При том, что ценности открытости и непринужденности для современного индивида – не пустой звук. Он пре-

красно осведомлен о цене на них в мире, где живет. (Замечание О. Уайльда о цинике, всему знающему цену, но не знакомом с ценностью, не утратило своего методического значения.) Убеждение в том, что как раз эти субъективные добродетели – быть непринужденным, открытым, естественным – и находятся в дефиците, делает их столь привлекательными в наших глазах. Мы им невольно симпатизируем, но, как ни парадоксально, не торопимся сделать однозначно своими.

Подобных амбивалентностей множество. Их рост прямо пропорционален нагрузке на психоэмоциональную сферу. Эффект когнитивного диссонанса преследует современного индивида чуть ли не с рождения. Возрастающая сложность мира вокруг нас заставляет разрабатывать технологии адаптации повсеместно. Психология, педагогика, с недавних пор ювенальная юстиция имеют в виду незрелое, ещё не оформившееся сознание. Они всерьез говорят о специальных «наводящих» стратегиях и адаптационных механизмах вхождения ребенка в «совместную с другими» жизнь социума, начиная едва ли не с дошкольных учреждений. Усложнение мира, понимаемое во многом как увеличение числа взаимоисключающих тенденций, имеет своим трансцендентальным условием гетерономию социальной онтологии вообще. Экстраполированный на область онтологии общественного сознания, этот тезис в головах его носителей приобретает вид слабо связанных между собой, опасно спутанных представлений. Образуется явная лакуна понимания того, что происходит вокруг и «на самом деле». Пример детства в этой ситуации особенно показателен.

Феномен раннего псевдовзросления давно тревожит специалистов. Специфическая габитуализация в этой сфере сводится к тому, что с каждым поколением субъект детства всё в более раннем возрасте лишается естественной невинности сознания, становясь, скорее, субъектом спонтанной рефлексивности. Этот доселе неизвестный – псевдовзрослый – субъект действует исходя из двойной мотивации. Ребенок разыгрывает «взрослое отношение», где отчетливо присутствуют следующие составляющие: 1) во-первых, борьба за признание, ставки и интересы в которой выводят ее на уровень настоящей конкурентной борьбы. Фактически перед нами состязательность репутаций, во многом повторяющая современный расклад в поле «взрослой» социальности; 2) во-вторых, граничащее с шантажом манипулирование в рамках собственной возрастной группы. Любопытно, что социальная стратификация при этом оказывается не столь существенна. Чаще речь идет о психическом распределении властных и подчиненных позиций. Аффект, который сопровождает подобное перераспределение власти, напугал бы даже З. Фрейд; 3) в-третьих, нечувствительность к чужому поражению, переходящая в нарциссическое удовольствие. Это превращение происходящего в своего рода игру; дистанцирование и, тем самым, категорическое оправдание любых своих поступков как, в сущности, «несерьезных». Не правда ли, все перечисленные симптомы как нельзя лучше описывают *взрослую* «невротическую личность

нашего времени». Тем самым, обладание указанными навыками в раннем и подростковом возрасте гарантирует плавное вхождение во взрослую жизнь, структурным образом организованную точно так же.

Совершенно очевидно, что формирование такого габитуса, как «детского», небезобидно и небезопасно. Признание, завоеванное в ходе конкурентной борьбы и не сбалансированное практическими, объективно-жизненными условиями ответственного сосуществования с другими, быстро обретает черты анархического, субъективно-волевого предприятия. Подобный габитус, введенный в действие, сразу встраивается в нарциссическую мотивацию. Ребенок приобретает несвойственную ему по природе рефлексивно удлиненную память.

Наличие такой памяти угрожает раннему субъекту взросления двояким образом: 1) в случае поражения, переживаемого необычайно остро: его вытеснение способствует формированию травмы, масштаб которой несоизмерим с местом и значением самого экзистенциального события в привычном «детском» измерении; 2) в случае победы, которая сразу принимает очертания сугубо личного достижения, состязательного намерения, увенчавшегося успехом. Всё это накрепко привязывает субъекта к однажды пережитому ощущению триумфа. Само это ощущение с неизбежностью формирует потребность в росте интенсивности подобных переживаний. Субъект оказывается заложником непомерных притязаний, адресованных самому себе. Это тем более опасно, что так рано вступивший в права принцип удовольствия не уравновешен никаким принципом реальности.

Если начало рефлексии – фило- и онтогенетически – это завершение детства, то «взрослое» состояние дел дает представление о всеобщем психосоциальном феномене, включающем рефлексивность как одну из своих фундаментальных, неотъемлемых характеристик. Возвращаясь к теме цинизма, стоит иметь в виду именно этот аспект социальности. Он презентует субъектов по обе стороны публичной власти. Вопрос о «внутренней форме» социальной механики, об имманентной логике ее развертывания включает сюжет, касающийся интенциональной соотнесенности субъектов господства и подчинения с окружающим социальным пространством. Думается, как раз эти схемы и закономерности деятельности сознания и бессознательного – коллективного и индивидуального – должны интересовать социального теоретика, философа власти и права, социального диагноста.

Моральное обвинение публичной власти в цинизме бесперспективно. Это удалось показать уже Н. Макиавелли. Введение в структуру рассуждения о власти мотива целеполагания автоматически выводит ее из-под удара этики. Поэтому и цинизм, коль скоро мы обнаруживаем его в орбите властных диспозиций, теряет свою однозначно денотативную соотнесенность со сферой морали. То, что этим понятием продолжают пользоваться в качестве оценочной этической категории, отнюдь не значит, что оно не может быть задействовано в альтернативных дискурсивных описаниях и теоретико-объяснительных схемах.

В предложенном горизонте цинизм – подлинно всеобщая форма мысли-поступка-самочувствия. Это

определенный габитус субъективности, находящий свое выражение в неискренности как доминирующем модусе большинства сознательных и бессознательных шагов, инициатором которых выступает субъект социального действия. Последнее должно быть эффективным. Цинический габитус – как всякий другой – призван упорядочить социальное бытие, оформить его в мир-для-индивида, сделать этот мир минимально затратным для него. Габитус, разумеется, – приобретенное, «субъектное» качество. Скорее всего, это качество именно практического разума, апеллирующее к здравому смыслу как структуре, призванной организовать жизненное пространство рациональным, приемлемым для нас образом. Формирование цинической модели мышления и действия преследует вполне определенные цели. Учитывая их жизненно-утилитарный характер, мы признаем за цинизмом жизнемирный, свободный горизонт смыслополагания. Вообще, игра свободы и не-свободы в циническом модусе мировосприятия и жизнеосуществления – отдельная и интригующая тема.

Если цинизм как внутренняя форма субъекта напрямую связан с его рефлексивной способностью, тогда как структура субъективности в различных социальных полях и применительно к различным социальным группам реагирует на общее требование цинической габитуализации? Ведь позиции тех, кто принадлежит к разным социальным образованиям, выглядят по-разному. И, между прочим, искомое качество рефлексивности присуще им в разной степени. Если, к тому же, цинизм – это структура действия, он наверняка, обладает деформирующим характером. Причем деформации подвержены как результаты, так и субъекты деятельности. Например, в случае публичной власти – вне зависимости от ее видимой локализации – деформирующее воздействие цинической установки коснется в равной мере субъектов господства и подчинения.

Вопрос о цинической габитуальной структуре имеет множество измерений. Как правило, философов занимает трансцендентальное обоснование любой формы всеобщности. Подобный вопрос резонно адресовать и цинизму как приведенной в действие специфической способности к конституированию социального мира-для-субъекта. Постулируя же рефлексивное априори в качестве подлинного основания цинизма, мы вынуждены обратиться к теме самой рефлексивности.

При том, что ее аналитика сталкивается с сопротивлением в описании ее же генезиса. Это и понятно. Проблематика происхождения рефлексии осложнена ее трансцендентальным характером: субъект изначально рефлексивен. Интроспекция, к которой он обращается, быстро обретает черты изнуряющего хождения по кругу, формы рефлексивного вопрошания о себе самом: как выглядит то, что способствует самому видению?; как возникает полагание самого полагания? Разумеется, это продуктивные, чрезвычайно важные, но вполне самостоятельные, специальные темы для обсуждения.

В нашем случае достаточно рассматривать рефлексивность как непрременную составляющую со-

временной формы социальности, естественное качество анонимного субъекта, отвечающего всем прочим условиям быть «современным». Социальная теория работает с габитусом такого усредненного индивида – своеобразного социального «мы». Она реконструирует габитуальные предпочтения, равно как и различного рода трансформации и сдвиги, характерные для становления того или иного габитуса – культурного, возрастного, профессионального и пр. Его символическое наполнение позволяет выстроить иерархию габитуализирующих форм мировосприятия и действия. Думается, циническая модель современного образа мысли венчает эту иерархию или, если угодно, фундирует ее. Как раз в этом отношении нельзя сказать, что профессиональный политик всегда более циничен, чем его избиратель; что старшее поколение, «видевшее жизнь», в обязательном порядке циничнее тех, кто идет ему на смену; что профессиональный ученый менее разборчив в средствах для достижения своих целей, чем те, кто далек от науки и имеет слабое представление относительно подлинности научного целеполагания. Универсальный характер цинизма, в нашем понимании, спровоцирован целерациональной, рациоцентристской – по видимости – организацией самого социополитического мира. Это педалируемое, подчеркнутое рацио- и целеполагание в сфере политики и социальности – наследие общефилософского и общекультурного проекта модерна.

Всё вышесказанное приводит нас к очевидному: современная публичная власть сама принимает сложные рефлексивные формы. Этого требует управление массой, которую, в свою очередь, составляют субъекты рефлексии. Власть продолжает подчинять, однако дисциплинарные институты и дисциплинарные практики, имеющие в виду дрессуру *телесных* проявлений подчинения, отступают на второй план. Всё в большей степени власть демонстрирует интерес к психоэмоциональному устройству вверенного ей общественного субъекта и к знанию его о себе самом. Учет того, что всякий индивид обладает таким внутренним знанием, а следовательно, продуцирует внутреннее отношение к тому, что с ним происходит, заставляет власть считаться с подобным рефлексивным удвоением. Власть действует, используя представление о том, чем инспирировано рефлексивное отношение субъектов; за счет чего осуществляется содержательное наполнение этого отношения – знания; наконец, каким образом этим знанием можно управлять.

В изложенной ситуации много примечательного. Естественным бы выглядел тезис, согласно которому субъект рефлексии максимально внимателен к манипуляциям в отношении себя. Однако простое наблюдение убеждает нас в том, что общественный субъект легко программируем и легко направляем. Фактически, мы вынуждены признать: рефлексивность данного образца, оставаясь способностью самосознания, не гарантирует свободы. Похожую форму рефлексивности Ф. Ницше называл ложным сознанием. В нашем случае это сознание оказывается еще и «просвещенным». Другими словами, в противоположность наивному, оно знает о своей ложности. Собственно, это знание и открывает дорогу цинизму.

Для цинического субъекта обозначенный путь полон двусмысленности. Отлучение от инстанции внутренней свободы, о чем он прекрасно осведомлен, имеет неожиданный эффект. Именно последнее обстоятельство мгновенно возвращает ему эту свободу: ведь теперь цинизм ассоциирован с принципиальной амбивалентностью индивида – тот причастен состоянию свободы и несвободы одновременно. Вопрос в том, как переживается такое сознание себя? Как субъект распоряжается знанием собственной амбивалентности? Структура психики цинического субъекта рисует любопытную картину.

Во-первых, следует указать на реактивный характер самого цинизма. Несомненно, что цинизм – это результат властных воздействий, совокупный эффект которых дает о себе знать в виде определенного габитуса. Поверхностное выражение последнего – социальная апатия, усредненность, усиление самоконтроля. Принимая во внимание «просвещенность» цинического сознания, реактивность цинизма есть не что иное, как ответ субъекта на положение дел в нем самом. Отсюда второе важное обстоятельство: амбивалентность экзистенциальной свободы и несвободы переживается в модусе глухого, надежно скрытого от сознания, но не прекращающегося недовольства собой. Здесь берут начало амбивалентности другого рода. Они также имеют выход в область узнаваемой модели цинического габитуса: субъект никак не может выбрать между безответственностью и желанием всё держать под контролем; между подчеркнутым затушевыванием следов собственного присутствия где бы то ни было и навязчивой нарциссической самопрезентацией; между тягой к стабильности и привычным ожиданием катастрофы. Поэтому цинизм – это современная разновидность самоотчуждения. Причем такая его форма, которая обнаруживает все признаки психопатологического симптома в его классическом облике: вытеснение, сопротивление, замещение (вторичная обработка).

Имея в виду, что основная черта психопатологии – маскировка сущности, а цинизм как реактивная структура – всегда неудачная попытка субъекта скрыть правду о себе самом, остается объединить эти посылки. Результатом такого соединения является диффузность цинизма как специфического – вездесущего – феномена. Цинизм, конечно, «в головах», но он находит продолжение в социальных взаимодействиях. Именно здесь, как правило, он небросок, анонимен, замаскирован под особую деликатность. Как раз в поле социальности циник никогда не произносит «нет». Любому «нет» он предпочтет социальные конвенции. П. Слотердаjk пишет о нем, как об «антиобщественном типе, который нырнул в толпу, чтобы затеряться» [1. С. 142]. И определяет его как человека, способного сдерживать, к примеру, депрессию работой. Как того, кто трудится по принуждению, понимая, что не так хотел бы прожить собственную жизнь, но кто достаточно пластичен, чтобы смириться с горечью поражения. Циник ощущает себя жертвой, защищаясь внутренней эмиграцией. Он заинтересован в сохранении конвенциональных фасадов, не имея настоящего твердых убеждений. Ни во что не вмешиваясь, зная о лучшем, он соглашается делать худшее.

Нельзя не видеть всю опасность подобного умонастроения: знание собственной неудачи, неспособность к сопротивлению, произрастающая из трезвого понимания своего бессилия, оборачиваются самоосуждением, презрением к себе, меланхолией и катастрофилией. Вышеперечисленное проявляет себя двояким способом: 1) либо – в подавляющем большинстве случаев – циническое сознание раз и навсегда разводит и никогда не смешивает формальное знание о том, как следовало бы поступить, и собственно интенциональное переживание текущего момента, трактуя их как строго изолированные полюса, удержание которых на расстоянии гарантирует достигнутый минимум комфорта; 2) либо – отравляющее воздействие столь остро переживаемых свидетельств собственной беспомощности оборачивается агрессией; гнев порождает деструктивность как последний шанс на самотрансформацию в психическом, экзистенциальном и социальном плане.

Таким образом, метафизический источник скрытого катастрофического комплекса, что, по утверждению П. Слотердайка, зреет в психосоциополитической сфере, – это специфический «недостаток субъективности». Тот ее дефицит, относительно которого Дж. Батлер утверждала, что он «всегда мстит за себя» [2. С. 26]. Рассматривая цинизм как психосоциальную структуру, нельзя обойти вниманием механизмы, когда-то вскрытые Ф. Ницше и З. Фрейдом. Так, Ф. Ницше [4], исследуя генезис рессантимента, указывает на извращение морального характера как следствие «самовыключения» субъективности. Опыт З. Фрейда [5] подсказывает, что ее «приостановка» ведет к психосоматическому расстройству. В том же направлении движется мысль К. Хорни, Р. Саленц, С. Жижеска [9] и в целом новейшей психоаналитической традиции: невротический синдром сопутствует феномену самоотчуждения. Прицельно смещая исследовательский интерес в область социальности, Л. Альтюссер и поздний М. Фуко настаивают на существовании не поддающегося социализации психического остатка, предназначение которого – осуществлять самополагание. Систематические атаки на эту область готовят почву для внутренней катастрофы, которая тут же обретает аналог в виде катастрофы социальной.

Обозначив цинизм как психопатологию, коррелирующую с социальным выбором и социальными предпочтениями, мы указали на его диффузный характер. Эта черта цинического сознания и цинического субъекта может быть генетически отслежена. Выше уже отмечалось, что в культурфилософском смысле началом такой формы цинического (как субъективного самополагания и релевантных ему социальных конфигураций) служит Просвещение. По этому поводу П. Слотердаjk писал, что диффузный цинизм – незапланированный итог просветительской практики, свидетельство ее краха. Причиной неудачи Просвещения служит наивность его ожиданий и исходных посылок.

Понимая принцип равенства как принцип свободы, просветительский проект разворачивался в противостоянии трем видам зависимостей сознания: 1) зависимости от власти; 2) зависимости от традиций; 3) наконец, зависимости от предрассудков.

Первая – поистине идиллическая – фаза Просвещения базировалась на прекраснотушной вере в то, что индивиды сами по себе жаждут освобождения. По понятным причинам такая простодушная установка практически сразу столкнулась с сопротивлением тогдашних носителей власти и с инерцией не критического отношения к миру вообще. Поэтому не заставила себя ждать стратегия превращения просвещаемого сознания в «клинический случай»: выработку рефлексивных механизмов сопротивления или, как сказал бы Ж. Лакан [8], рождения продуктивного фантазма для разоблачения и перекомбинации закосневшего дискурсивного кода (в нашем случае отражающего расстановку политических сил и шире – сложившихся на тот момент форм социальности). Следует признать, что указанная стратегия сформировалась не сразу и вынужденным образом: мысль о том, что сознание идеологично, что это его конститутивная особенность, что режим заблуждения, в котором оно пребывает, отражает «естественное положение вещей», лишь постепенно становилась условием преобразования исторически «отжившего» типа мышления допросвещенческой эпохи. Это открытие новоевропейского разума, обладая исторической ценностью, для нас демонстрирует системность в описании сознания вообще: и «господское», и «подчиненное» сознание в равной степени склонны замещать «реальность» предпочтениями, не тестируя их на предмет объективной истинности. «Предвззудки разумности» конкретно-исторического образца артикулируют всю меру не критичности и мифологичности любого сознания. Однако лишь новоевропейский способ обращения с горизонтами собственного исторического типа мышления обнаруживает такое приращение рефлексивности, эффекты которого, в действительности, трансформируют и субъекта власти, и субъекта подчинения.

Критическое просветительское вмешательство имело целью рассмотрение и того, и другого. В отношении первого Просвещение поначалу демонстрирует наивный пафос сотрудничества: увещание, пожелания смягчения нравов, предполагаемое сокращение социальной дистанции и т.д. Тем не менее само появление подобной исторической перспективы воли напугало французский королевский режим. Хотя первоначально критика коснулась безобидных форм проявления власти, велась путем указания на ошибки, заблуждения, предвззудки, привычку мыслить так, а не иначе. Однако в результате власть насторожилась, мобилизовалась и, в конце концов, верно угадала, какого рода орудие противостояния было применено к ней самой. Этим орудием нового господства стала рефлексия. Парадоксальным образом и субъект господства в допросвещенческую эпоху действовал не рефлексивно, он также оставался «естественным», по своему наивным. (За исключением редких случаев вроде упомянутого «Князя» Н. Макиавелли.) Теперь всё изменилось. Атакованный с неожиданной стороны (со стороны тех, чьей свободной энергией королевский режим распоряжался, «не задумываясь»), субъект власти оказался перед необходимостью также овладеть средствами рефлексии. Конечно, ему это

далось легче, чем остальным. (Правда, сама история уже работала против этого субъекта. Историческое время было упущено.)

Как бы то ни было, Просвещение формировало мощные предпосылки самопонимания: индивиды всё в большей степени становились носителями истины о себе и окружающей реальности. В конкуренции за способы интерпретации и реинтерпретации мира просветители и традиционные властные институты вступают в прямую конфронтацию. Не столь важно, насколько отчетливо королевский режим *осознавал*, что само Просвещение также является властным воздействием, попыткой властью пресечь власть. Достаточно сказать, что «настоящий» – физический – властный субъект это прекрасно почувствовал. Борьба аффектов стимулировала и без того естественную рефлексивность образованного правящего слоя. Знание властвующих о самой власти – это то, что просветители поначалу проигнорировали. Техника просветительской рефлексии, направленным на правящий класс (главным образом, на его разоблачение), последний противопоставил знание, которым всегда владел: 1) на каких правилах строится искусство властвования; 2) знание какого рода является наиболее жизнеспособным в политическом смысле, т.е. что ведет к удержанию и приумножению власти; 3) какой власть должна быть, чтобы поставлять новое знание, способствующее ее упрочиванию; 4) наконец, *как*, в общем виде, выглядит сознание тех, кем управляют.

Однажды приведя власть в состояние рефлексии, Просвещение вынудило ее ассимилировать даже те рефлексивные механизмы просветительской критики, что были пущены в ход против самой власти (после французских событий, по свидетельству Т. Карлейля, Европа была наводнена роялистскими мемуарами и манифестами, где лидеров Французской революции обвиняли – ни много ни мало – в антигуманном отношении к противнику). Главным же оставалось то, что реактивная структура официальной власти проявилась в модусе отчетливого рессантимента. Всё более рефлексивным способом отдавая отчет в собственных действиях, власть пожелала отделить субъектов подчинения от средств рефлексии. (Строго говоря, этому намерению не могут помешать ни социальные революции, ни изменение исторических форм публичных властных институтов, ни всеобщее образование, ни равенство перед законом.)

Фактически, такое начало «возгонки рефлексии» запустило механизмы откровенной состязательности в поле политики. Для отражения рефлексивных атак стороны вынуждены использовать всё новые средства и техники. Это означает, что этажи ложного сознания, надстраивающиеся друг над другом, бесконтрольно растут. Практика взаимного рефлексивного разоблачения и «выведения на чистую воду» в разы усиливает ответную реакцию сопротивления, множит критические выпады и инициирует изоциренную критику критики. К настоящему моменту этот регион политической рефлексии прочно оккупирован держателями соответствующего символического капитала в виде целой армии политических экспертов, обозревателей, аналитиков, консультантов, философов и просто «по-

литических мыслителей». Именно так обстоит дело с политиками-профессионалами и обслуживающими эту сферу критическими и академическими дискурсами. Эффект бумеранга, который мы здесь наблюдаем, сам по себе является теоретической проблемой. Но не менее важно, что Просвещение инициировало реакцию иного рода. Это структура, также являющаяся реактивной, также обнаруживающая себя в виде рефлексивного сопротивления, но работающая в противоположном направлении. А именно – в *скрытой* форме противящаяся чужим критическим вмешательствам.

Сознание массы – это то, к чему приложимо усилие и либеральной критики, и «защитных» механизмов власти. Результаты такого двойного воздействия, разумеется, были интроецированы и стали габитусом всех участников.

В том относительно слабом, рефлексивном знании о себе, которым изначально обладают субъекты подчинения – те, кто должен повиноваться и чья лояльность заранее полагается и программируется, – в этом знании они максимально приближены к инстанции формирования эмоции и мотива следующего за ней поступка. Это знание таково, что за ним, как правило, следует молниеносное действие. Реальный субъект власти, конечно, желал бы сохранить такое положение дел в неприкосновенности. Ведь знание об этом знании в субъекте подчинения несет прямую угрозу. Строго говоря, любой анализ – тем более самоанализ подобного знания – сакральное преступление перед властью.

Наивность самого Просвещения склонялась к чаянию того, что результатом критики станет всеобщее просвещенное сознание. Со стороны метафизики эти идеалистические ожидания поддерживал и питал новоевропейский вариант трансцендентализма. Действительно, повсеместное приобщение к рефлексивным техникам самообнаружения – через их простое, регулярное просачивание в область массового сознания и массовых практик повседневности – ведет к возвышению самосознания, росту естественной автономии, к упрочиванию вектора индивидуации в истории новой и новейшей социальности. Однако главным надеждам Просвещения не суждено было сбыться. Просвещению не удалось справиться с политическим самоотчуждением в модусе поверхностности и заблуждения. Оно лишь модифицировало эту форму ложного сознания, произведя на свет некий гибрид – сознание, отчасти переставшее быть наивным, зато обретшее черты рефлексивно-изворотливого, опасно-непрозрачного, в общем, цинического.

Ложность того типа мышления, о котором мы говорим, находит выражение в ряде признаков: 1) в утрате подлинности (последняя понимается как основа мышления развитого и ответственного, как свободное самополагание); 2) в *подмене* подлинных оснований самоконституирования и в нежелании «разбираться» с такой подменой; 3) наконец, в вышеобозначенной амбивалентности, вынуждающей этот тип сознания функционировать на грани распада.

Субъекта, на которого сделала ставку Просвещение, более не существует. (Вполне вероятно, что его не существовало вовсе.) Как бы то ни было, цельность мысли и поступка классического новоевропейского

субъекта представляется в высшей степени тщетной. Необходимое в новых обстоятельствах, исторически обусловленное приращение рефлексивности, воздействуя на психическую почву индивидов, делало ее рыхлой и податливой.

К настоящему времени не только теоретическое, но и массовое сознание трудно удивить суждением, что любой факт – лишь сумма политически и идеологически детерминированных интерпретаций. Поле современной политики диффузно в той же мере, что и претензии на власть. Поэтому практики взаимного рефлексивного разоблачения действуют повсеместно. Следует признать, что для субъекта повседневности последнее обстоятельство зачастую – непомерная психоэнергетическая нагрузка.

Современный субъект испытывает непрекращающийся социокультурный прессинг, воспринимаемый как результат кратного усложнения мира, возрастания его гетерогенности, подталкивающего к совершенствованию средств защиты. Новая жизненная установка покоится на утраченной вере в естественность чего бы то ни было: изначальная природа чего бы то ни было находится под вопросом; объективность любого рода выглядит подозрительной. Тяжелое обвинение в нравственном и социально-правовом релятивизме стало общим местом той формы морализаторства, что преследует субъекта современности с момента его появления. Для него якобы не осталось ничего устойчивого, прочного: всё пришло в движение и является коррелятом практического интереса. Действительно, где бы ни обнаружил себя современный субъект, он находится в режиме игры (не случайно терминология «игроков» – столь удачная находка не только медийных дискурсов, отслеживающих поля бизнеса или политики, но и академического языка описания, где «игроки» в поле экономики, культуры, образования и, разумеется, институтов власти – теоретически полноценное, узаконенное понятие).

Используя парадигму игры, легко убедиться, что ее агенты действуют отнюдь не хаотичным образом. Во-первых, игра предлагает определенные правила, которые следует принимать в расчет. Во-вторых, и это главное, она предоставляет игрокам известную свободу. Как этой свободой распоряжается циничский субъект? Имея в виду политический аспект его целеполагания, рискнем предположить: циничская структура психики субординированных субъектов по обе стороны власти делает их *двойными, тройными* и т.д. агентами без ясного понимания, на чьей же в действительности они стороне. Сознание *homo ludens* «от политики» – изошренно, изворотливо, всё равно – профессионально или сколь угодно широко (*диффузно*) – горизонт политического мира, где субъекты борются за власть или стараются от нее уклониться.

Всё вышеизложенное означает, что силы сопротивления ушли глубоко в подполье и носят внутрипсихический характер. Именно это создает условия для феномена, который Ж.-Ф. Лиотар [3] и Ю. Хабермас [7] именуют кризисом легитимации: индивиды отторгают то, чему причастны внутренне; они обнаруживают реакцию самоустранения там, где заявляет о себе дефицит субъективности.

Разумеется, остаются различия в том, как эта реакция организована методически со стороны агента властного и под-властного. На первый взгляд, большая политика с большими ставками, с *настоящими* игроками-профи умело пользуется стратегией внутренней эмиграции, взятой на вооружение субъектом подчинения. (Двойные стандарты, конечно, не объявляются хорошим тоном, их не выставляют напоказ, однако особенно и не скрывают: серьезные заявления все равно никто не принимает всерьез. Пассивность обывателя позволяет вести двойную игру открыто: возражений не последует.)

В то же время «хитрости» цинического разума, его общие для всех дефициты, присущие в равной степени субъекту власти, вынуждают последнего действовать осторожно, быть «политкорректным». (Игрок в поле современной политики, сколь бы циничен в привычном смысле слова он ни был, знает: при любой максимально полной социализации, при любом, в его пользу, программировании наивности, в электорате сохраняется тугоплавкий несоциализируемый остаток. Это неотчуждаемый сгусток психической энергии, дающий выход определенной перспективе воли, а именно – воли индивидов к самоутверждению. Той самой воли, что позволяет массе – после Просвещения – оставаться программируемой, но делает ее не до конца предсказуемой.) В результате субъект власти так же, как и все остальные, практикует «сдерживание» в осуществлении собственной субъективности. Фактически он испытывает в психоэмоциональном

отношении те же муки недореализации. Он просто вынужден наращивать стратегии «сознательной консервации наивности», изобретать и пускать в ход все новые политики контр- и антирефлексии, предназначенные субординированному субъекту подчинения.

Такая гонка на «рефлексивное опережение» предстает изматывающей для обеих сторон: она духовно обескровливает современного субъекта, истощает его жизненные силы. В конечном итоге страдает само поле современной социальности, поскольку оно недополучает энергии индивидов, растраченной на поддержание пустоты – политическая машина, институты власти в большой мере работают вхолостую.

Существует ли возможность коррекции описанного типа сознания? Видимо, пока этот вопрос открыт. Хотя ясно, что только правовые схемы и техники в целях подобной коррекции не работают. Они нерелевантны и малоэффективны. Правовой, да и собственно политический субъект – лишь грань, эффект того исторического модуса мышления, рациональности и перспективы волеизъявления, что для своей трансформации требует особой формы критики не одного сознания, но и общества в целом, его культуры, истории. Есть шанс, что анализ социального субъекта, как и анализ социальности вообще, учитывающий психоэмоциональное априори, может предложить конкретные шаги, выработать позитивные психосоциальные практики, обеспечивающие единство поступка, мысли и самочувствия.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Слотердаjk П.* Критика цинического разума / пер. с нем. А.В. Перцева. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001. 584 с.
2. *Батлер Дж.* Психика власти: теории субъекции / пер. З. Баблюяна. Харьков : ХЦГИ ; СПб. : Алетей, 2002. 168 с.
3. *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна / пер. с фр. Н.А. Шматко. М. : Ин-т эксперимент. социологии ; СПб. : Алетей, 1998. 160 с.
4. *Ницше Ф.* К генеалогии морали // Ницше Ф. Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1990. Т. 2.
5. *Фрейд З.* Недовольство культурой // Психоанализ. Религия. Культура. М. : Ренессанс, 1992.
6. *Фуко М.* Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М. : Касталь, 1996.
7. *Хабермас Ю.* Философский дискурс о модерне : пер. с нем. М. : Весь Мир, 2003. 416 с.
8. *Лакан Ж.* Семинары. Книга II: «Я» в теории З. Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955) / пер. А. Черноглазова. М. : Гнозис ; Логос, 1999.
9. *Zizek S.* Welcome to the Desert of the Real. London ; New York : Verso, 2002.

Статья представлена научной редакцией «Философия, социология, политология» 7 июля 2014 г.

### GENEALOGY OF THE POLITICAL SUBJECT: CYNICAL MODUS OF SOCIALITY

*Tomsk State University Journal.* No. 387 (2014), 52–60. DOI: 10.17223/15617793/387/9

**Petrenko Valeriya V.** Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: vptomsk@mail.ru

**Zinchenko Eugeny V.** West Siberian Branch of Russian Academy of Justice (Tomsk, Russian Federation). E-mail: qwe26@mail.ru

**Keywords:** subjectivity; sociality; cynicism; power; political relations; mentality.

Analysis of the phenomenon of cynicism and accompanying psycho-, socio-political circumstances requires a fundamentally new look at what is happening. Theoretical description, with the political and legal world as its subjects, involves essences that demonstrate a universal character. This categorical series includes a number of phenomena of thinking, language and power. Empirically, it is the concept of power that is closer and clearer than the others. It is habitual to think of power as coercion that comes from outside and determines the behavior of the individual. And often it is involved in political theory and philosophy of sociality. To think about power as a generic principle is still unusual. It is unusual to interpret power as a condition of the subject itself. The difficulty is that power interpreted so has no formal representation, it is not directly correlated with any social institution. Positivist optics sees this state of affairs as something suspicious – for the subject perceives the consequence of this power, structurally unfixed in the field of the social, as authentic modes of self-existence. Another condition of exercise of power is its ambivalence: by managing power, the subject does not always notice how the power manages it, which becomes obvious if to take a look at public authority. Politics and power go hand in hand. As a global technology of mass management politics has a habitualizing effect: "cynicism of the master" and "cynicism of the servants" operate in a single mode. Of course, the latter is more veiled, it is more difficult to recognize. But, most importantly, it is psychopathic. This form of cynicism, surprisingly, is not aggressive outwardly. In the political sphere it is often not associated with a cynical choice or a cynical action. The ambivalence of the modern type of sociality indicates mutually exclusive tendencies of common sense – complication of the social field and its configurations with simultaneous unification of singularities acting within the boundaries of various social fields. The question of the "inner form" of social mechanics involves the plot of the

intentional correlation of subjects of dominance and submission with the surrounding social space. It is these patterns of activity of consciousness and unconsciousness – collective and individual – should be interesting for social theorists and philosophers of power. In the proposed horizon cynicism is a truly universal form of thought – action – being. It is a particular habitus of subjectivity designed to streamline the social being, place it in the world of / for individuals to make this world minimally costly for them. The question of the cynical habitus structure has many dimensions. We postulate the reflexive a priori as a genuine reason to cynicism.

#### REFERENCES

1. Sloterdijk P. *Kritika tsinicheskogo razuma* [Critique of cynical reason]. Translated from German by A.V. Pertsev Ekaterinburg: Ural University Publ., 2001. 584 p.
2. Butler J. *Psikhika vlasti: teorii sub"ektsii* [The psychic life of power. *Theories in subjection*]. Translated from English by Z. Babloyan. Kharkiv: KhTsGI Publ.; St. Petersburg: Aleteyya Publ., 2002. 168 p.
3. Lyotard J.-F. *Sostoyanie postmoderna* [The postmodern condition]. Translated from French by N.A. Shmatko. Moscow: Institute of experimental sociology Publ.; St. Petersburg: Aleteyya Publ., 1998. 160 p.
4. Nietzsche F. *Sochineniya: v 2 t.* [Works. In 2 vols.]. Translated from German. Moscow: Mysl' Publ., 1990. Vol. 2.
5. Freud Z. *Psikhoanaliz. Religiya. Kul'tura* [Psychoanalysis. Religion. Culture.]. Moscow: Renessans Publ., 1992.
6. Foucault M. *Volya k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti* [The will to truth: beyond knowledge, power and sexuality]. Moscow: Kastal' Publ., 1996.
7. Habermas J. *Filosofskiy diskurs o moderne* [Philosophical discourse on modernity]. Translated from German. Moscow: Ves' Mir Publ., 2003. 416 p.
8. Lacan J. *Seminary. Kniga II: "Ya" v teorii Z. Freyda i v tekhnike psikhoanaliza (1954/1955)* [Seminars. Book II: "I" in Freud's theory and in the technique of psychoanalysis (1954/1955)]. Translated from French by A. Chernoglazov. Moscow: Gnozis Publ.; Logos Publ., 1999.
9. Zizek S. *Welkome to the Desert of the Real*. London; New York: Verso, 2002.

Received: 07 July 2014